

МЫ УНОСИМ С СОБОЙ

ЮРИЙ ПИКАЛОВ

То, что происходит с нами, когда кончается

Юрий Пикалов

Мы уносим с собой

«Автор»

2026

Пикалов Ю.

Мы уносим с собой / Ю. Пикалов — «Автор», 2026

Что происходит с человеком, когда он умирает? Этот вопрос старше любой из наук, и тысячи лет на него отвечали то верой, то сомнением — а он остаётся одним из самых личных вопросов, какие только есть. Эта книга — дорога через голоса тех, кто оказался у самого порога смерти (то, что называют околосмертным опытом), и тех, для кого их слова так и остаются загадкой. Дорога неспешная и внимательная к каждому шагу — из больничных палат и научных лабораторий. В стороне от неё лежит ещё один путь для тех, кому этого мало, — сквозь голоса медиумов, древние карты загробья, необъяснимые совпадения и самые смелые гипотезы физики о природе времени. Дорога ведёт не туда, где кончаются сомнения, а туда, где начинается что-то более тихое и более важное — то, что можно унести с собой, ещё не дожидаясь ответа.

© Пикалов Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Содержание	6
Перед дорогой	7
Часть I. Трещина	8
Глава первая. Человек, которого ударила музыка	9
Глава вторая. Можно ли им верить?	11
Глава третья. То, что трудно объяснить	13
Часть II. Свидетели	16
Глава четвёртая. Те, кто видит первым	17
Глава пятая. Здоровые у постели	20
Глава шестая. Другие двери	22
Глава седьмая. Тёмная сторона	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Юрий Пикалов

Мы уносим с собой

Мы уносим с собой



*То, что происходит с нами,
когда кончается жизнь, —
и то, что остаётся,
когда кончаются ответы.*

Содержание

Перед дорогой	
Часть I. Трещина	
Глава первая. Человек, которого ударила музыка	
Глава вторая. Можно ли им верить?	
Глава третья. То, что трудно объяснить	
Часть II. Свидетели	
Глава четвёртая. Те, кто видит первым	
Глава пятая. Здоровые у постели	
Глава шестая. Другие двери	
Глава седьмая. Тёмная сторона	
Часть III. Что умеет сознание	
Глава восьмая. Дети, которые помнят	
Глава девятая. Когда гаснущий мозг вдруг проясняется	
Глава десятая. Власть над телом	
Часть IV. На весах	
Глава одиннадцатая. Лучшее, что есть у скептиков	
Глава двенадцатая. Где объяснения кончаются	
Часть V. Рамка	
Глава тринадцатая. Мозг как фильтр	
Глава четырнадцатая. Один камень	
Часть VI. То, что остаётся	
Глава пятнадцатая. Реальнее яви	
Глава шестнадцатая. С чем возвращаются	
Глава семнадцатая. Жить иначе	
Эпилог	
Благодарности	
Приложение. Открытые горизонты	
Голоса через стену	
Что между	
Древние карты	
Смысловые совпадения	
Незванные гости	
Время, у которого, может быть, нет стрелки	
Бессмертие из уравнения	
Справочный аппарат	
О методе и источниках	
Литература по главам	
Глоссарий	

Перед дорогой



Мы уносим с собой не то, что взяли у жизни, а только то, что отдали ей.

Этот вопрос старше любой из наук и старше самого письма. Его задавали у погребальных костров, задолго до первого написанного слова; ради него поднимали пирамиды и складывали первые мифы; над ним сидели философы Афин и монахи Тибета — и он же, всё тот же, стоит сегодня в коридоре реанимации, где кто-то ждёт новостей. Что происходит с человеком, когда он умирает? Тысячи лет на него отвечали верой — и тысячи лет сомнением. А он не сдвинулся с места — самый старый вопрос на свете и самый личный: потому что рано или поздно он стучится в каждую дверь без исключения.

Но кое-что за последние десятилетия всё же переменялось, впервые за всю эту долгую историю. У вопроса появились не только жрецы и мыслители — у него появились свидетели. Медицина научилась возвращать людей с самого порога, и вернувшихся стали не одёргивать, а слушать и считать. Записывать, сравнивать, проверять. Накопилось то, чего у человечества не было никогда: не предания о крае жизни, а показания с него — тысячи показаний. Вот по этим показаниям мы и отправимся.

Мы пройдем эту дорогу вместе, шаг за шагом, ничего не глотая на веру и ничего не отбрасывая свысока. Обещание у меня одно, зато без оговорок: не говорить тебе больше, чем знаю, и не молчать о том, что знаю.

А начинается дорога с человека, которого ударила музыка.

Часть I. Трещина



Глава первая. Человек, которого ударила музыка



Гроза в тот августовский день 1994 года ещё медлила. Она стояла над озером тяжёлой синевой, не решаясь пролиться, и воздух был тот самый, предгрозовый — плотный, отдающий металлом, когда кожа чувствует электричество раньше, чем его увидит глаз. Тони Сикория этого не замечал. Он отошёл от стола с родными к телефону-автомату у павильона, снял трубку и набрал номер матери. Ему было сорок два. Хирург-ортопед, бывший футболист, крупный, крепкий, обеими ногами стоящий на земле человек, который чинит сломанные кости и не верит в то, чего нельзя пощупать.

Мать взяла трубку. Он успел сказать ей несколько слов.

А потом небо нашло его через провод.

Молния ударила в линию и вошла ему в лицо — белая вспышка вплотную, без расстояния, без паузы между «вижу» и «больно». Ток прошёл сквозь голову, рванул вниз вдоль позвоночника и вышел в ноги; металлические набойки на каблуках его ботинок оплавилась и привадили его к земле. Он не успел почувствовать, как падает. Сердце остановилось. По всем меркам той самой медицины, которой он служил, в эти секунды Тони Сикория перестал быть живым.

И вот здесь начинается то, ради чего написана эта книга. Я прошу тебя только об одном — не спеши ни верить, ни усмехаться. Пока просто слушай.

Первым, что он понял, было движение: он летел вперёд — сам, без тела, растерянным сгустком сознания, не успевшим даже испугаться. Обернувшись, он увидел внизу собственное тело на бетоне. Увидел женщину, выбежавшую из очереди к телефону, — по счастливой случайности реанимационную медсестру, — которая упала на колени и принялась вбивать ему в грудь ритм жизни. С крыльца с криком сбежала его тёща — и, как он будет рассказывать потом, пробежала прямо сквозь него, не заметив. Вот тогда он и понял — спокойно, без ужаса, с ясностью, которой сам удивился: я умер.

Его потянуло дальше — сквозь стены павильона, вверх по лестнице, туда, где сидели его дети. Он посмотрел на них — и вместо тревоги пришло знание, тихое и полное, будто вложенное в него целиком: с ними всё будет хорошо. И земное отпустило. Мимо пронеслись — не по порядку, а разом — взлёты и падения его жизни, без суда и без самобичевания, одной чистой, лёгкой мыслью. А потом был свет — голубовато-белый, который он позже опишет не как картинку, а как состояние: тёплый, живой, разумный, и в нём — покой и любовь такой плотности, какой он не знал за всю свою трезвую, рассчитанную жизнь. Он ускорялся, летя куда-то вверх, и успел подумать, что ничего великолепнее не испытывал никогда...

...и в этот самый миг его вбило обратно — резко, без перехода, как ударом захлопнутой двери; сам он потом описывал это одним коротким словом, похожим на звук хлопка. Он очнулся на земле, в теле, которое горело болью, — ожоги на лице, где молния вошла, и на левой ступне, где вышла, — и первым его чувством была злость: зачем вернули.

Первые недели всё шло как тяжёлое, но обыкновенное выздоровление человека, выжившего после удара током. Память о свете он держал при себе — кому такое расскажешь.

А потом пришло странное, и оно оказалось упремец любого ожога.

Человека, который всю жизнь слушал рок и не отличил бы Шопена от уличного шума, накрыла жажда фортепианной музыки — не интерес, а голод, физический, не отпускающий. Он купил записи. Потом ловил себя на том, что едет почти час до магазина за нотами. Потом в дом приехало пианино. А вскоре музыка зазвучала у него внутри сама, без его участия, будто кто-то диктовал, а он едва успевал записывать. Хирург, не знавший о музыке ничего, стал проводить за инструментом каждую свободную минуту. Он брал уроки, он начал сочинять, он написал собственную сонату — и назвал её в честь молнии. Невролог Оливер Сакс, человек, которого трудно заподозрить в легковерии, заинтересовался им настолько, что отвёл ему место в своей книге.

Я не знаю, что это было. Этого пока не знает никто — ни те, кто уверен, что Сикория побывал на пороге иного мира, ни те, кто уверен, что всё это сделал умирающий мозг. Зато я знаю другое. История Сикория — не единичный курьёз и не байка. За полвека таких историй собраны тысячи, и занимались ими не гадалки, а врачи и учёные, чьи имена стоят на серьёзных работах. И самое честное, что можно сказать о них сегодня, звучит непривычно тихо для темы, вокруг которой столько шума: мы пока не знаем, что это.

Эта книга — о том, как держать в руках такой вопрос и не уронить его. Я хочу пройти его с тобой медленно и честно, разглядывая каждую деталь, не торопясь ни поверить, ни отмахнуться. Мне кажется, он того стоит.

Пока же вернёмся к человеку у телефона-автомата. К музыке, которой не было в его жизни, а потом она вдруг хлынула. И зададим первый честный вопрос, с которого начинается всякое настоящее исследование:

что именно мы здесь знаем — и откуда мы знаем, что знаем это?

Глава вторая. Можно ли им верить?



Через несколько месяцев после того, как в него ударила молния, Тони Сикория стал просыпаться среди ночи и идти к пианино, которого год назад в его доме не было.

Дом спал. Хирург, сорока с лишним лет, ни разу в жизни не притронувшийся к инструменту, сидел в темноте и играл — потому что не играть не мог. Музыка не приходила к нему как идея, которую можно обдумать и отложить. Она напирала изнутри, требовала рук, и он вставал и отдавал ей руки. Те самые руки, что зарабатывали на жизнь починкой чужих костей, теперь до рассвета искали на клавишах звуки, которым он никогда не учился.

Вот с этого и начнём — потому что это та часть истории, которую можно проверить, не поверив Сикория ни на грош.

Он не рассказывает о своей музыке в пустоту. Он играет на сцене. Существуют записи. Существует соната, которую он написал сам и назвал в честь молнии. И есть свидетель, которому трудно не верить: Оливер Сакс — невролог с мировым именем, человек, сделавший сомнение своей профессией, — заинтересовался этим случаем, расспросил Сикория, проверил и описал его в своей книге. Перед нами невероятное событие — удар тока превратил врача в композитора, — и при этом событие задокументированное, публичное, существующее в мире независимо от того, что чувствовал сам герой.

А теперь — другая половина той же ночи.

Потому что Сикория рассказал ещё кое-что. Что в те секунды, когда сердце его стояло, он смотрел на собственное тело сверху. Что прошёл сквозь свет, тёплый и живой. Что его наполнила любовь такой плотности, какой он не знал ни до, ни после. И вот здесь у меня в руках нет ничего. Ни записи, ни прибора, ни свидетеля, который заглянул бы внутрь его переживания. Только его слово — сказанное потом, когда он уже выжил, отлежался и не раз пересказал эту ночь самому себе.

Я не говорю, что он лжёт. Я уверен, что не лжёт. Но память человека — не видеозапись. Она не хранит прошлое под стеклом, а каждый раз пересобирает его заново, и при каждой пересборке что-то достраивает, что-то подтягивает к тому, что человек успел с тех пор узнать и почувствовать. Даже самый честный свидетель отдаёт нам не событие, а свою последнюю версию события. И чем ярче была ночь, тем сильнее у памяти соблазн отполировать её до совершенства.

Так что же — поверить про музыку и отмахнуться про свет?

Если остановиться здесь, мы окажемся ровно там, где стоит уверенный скептик: впечатлительный человек что-то пережил под током, мозг догорал и напоследок выдал фейерверк, память дорисовала остальное — расходимся. И это была бы честная позиция. Если бы не одно обстоятельство, ради которого я и завёл весь разговор.

Видишь, что мы только что сделали с историей Сикория? Мы разделили её. Одну половину — музыку, Сакса, медицинские факты — положили на тарелку «проверено». Другую — свет, любовь, выход из тела — на тарелку «только с его слов». И каждой половине отмерили ровно столько доверия, сколько она заслужила. Не больше и не меньше.

Вот и весь инструмент. Простой до обидного, и единственный честный: всякую историю в этой книге мы будем разделять надвое — на то, что можно проверить, и то, что нельзя, — и верить каждой части по её проверяемости. Этот нож и есть наш главный спутник в путешествии, которое нам предстоит.

И вот что главное в его устройстве: он различает в обе стороны. Когда скептик роняет своё «да это просто умирающий мозг нарисовал свет» — он ведь тоже кладёт на стол утверждение. Он будто бы знает, в какую именно секунду возникло переживание, какой механизм его сделал и почему. А он этого не знает — точно так же, как верующий не знает, что Сикория постучался в дверь иного мира. Оба берут догадку и выдают её за факт. Наш нож снимает лишнюю уверенность с обеих тарелок одинаково, и в этом его честность: он не на стороне чуда и не на стороне разоблачения. Он на стороне проверки.

Я знаю, как это может прозвучать. Будто делить живую человеческую историю на проверяемое и непроверяемое — занятие холодное, лабораторное, чуть ли не бессердечное. Я думаю, ровно наоборот, и прошу тебя задержаться здесь на секунду.

Тот, кто верит всему подряд, на самом деле не дорожит ни одной историей — для него они все одинаковая тёплая каша. И тот, кто отмахивается от всего, тоже не видит ни одной — для него они все один и тот же мусор. А вот сесть напротив человека, выслушать его ночь до конца, отделить в ней то, за что можно поручиться, от того, что остаётся только его, — и сказать ему честно: «вот этому я верю твёрдо, а вот сюда я заглянуть не могу» — это и значит отнестись к нему всерьёз. Это не отказ от истории. Это самая высокая форма внимания к ней. Может быть, единственная настоящая.

Так мы и пойдём дальше — с этим ножом, сквозь тысячи историй, что нас ждут. И предупрежу заранее: большую часть из них он оставит на тарелке «только с его слов». Свет, любовь, чувство возвращения домой — у нас почти никогда нет способа узнать, было ли это окном наружу или последней щедростью гаснущего мозга. И я буду признавать это снова и снова, не пряча.

Но не всегда.

Потому что иногда — редко, по пальцам пересчитать — случается странное. Иногда человек возвращается «оттуда» не только со светом, который не проверишь, но и с чем-то, что проверить можно. С деталью. С фактом, который он, лёжа без сознания с остановившимся сердцем, не мог узнать никаким известным нам способом, — а он его называет. И факт подтверждается.

Вот тут наш нож впервые дрогнет. И вот с этих случаев начинается настоящий разговор.

Глава третья. То, что трудно объяснить



В операционной клиники в Финиксе врачи пошли на то, что в обычной жизни называли бы убийством, — дело было в августе 1991 года.

Пэм Рейнольдс, тридцати пяти лет, лежала на столе с аневризмой у самого основания мозга — раздувшимся, готовым лопнуть сосудом в том месте, куда хирургу обычным путём не подобраться. Остался один шанс, и он был чудовищным. Её тело охладили почти до шестнадцати градусов. Остановили сердце. Слили кровь из головы, наклонив стол, — буквально, как воду из сосуда. Глаза заклеили. В уши вставили динамики, щёлкавшие так громко, чтобы отследить любой отклик ствола мозга, — и отклика не было. Линии на приборах стали плоскими. По всем меркам медицины Пэм Рейнольдс в эти минуты не была жива ни в каком смысле, в каком мы понимаем это слово. Не «при смерти». За чертой.

А потом, очнувшись, она рассказала, что всё это время смотрела — сверху, откуда-то от потолка операционной, на собственное тело.

С этой точки, по её словам, она разглядела пилу, которой вскрывали ей череп, — и сказала, что та была похожа на электрическую зубную щётку, с насадками в особом футляре. Она пересказала фразу, которую обронила женщина-кардиохирург в тот момент, — что-то о том, что сосуды у пациентки слишком малы. Она знала, какая музыка играла в операционной. И всё это — детали, которые человек с заклеенными глазами, заглушёнными ушами и выключенным мозгом не мог получить ниоткуда, — потом, при проверке, совпало с тем, что было на самом деле.

Остановись здесь на секунду вместе со мной. Потому что вот оно — то, ради чего нам во второй главе и понадобился наш нож.

Помнишь, мы делили каждую историю надвое? На тарелку «только с его слов» и на тарелку «можно проверить». И я предупреждал, что свет, любовь, выход из тела почти всегда будут оставаться на первой тарелке — непроверяемыми навсегда. Так вот, случай Рейнольдс — это первый раз, когда что-то из той, заветной, недосягаемой половины вдруг перекатилось на вторую. Она не просто сказала «я парила под потолком и чувствовала покой» — это мы проверить не можем. Она назвала пилу. Назвала фразу. И их можно было сверить. Наш нож, всю вторую главу остававшийся чистой теорией, здесь впервые дрогнул.

Если бы история заканчивалась тут, эта книга была бы куда короче и куда менее честной. Но я обещал тебе, что наш нож различает в обе стороны, — и сейчас тот самый момент, когда он поворачивается к нам самим. Потому что скептики посмотрели на случай Рейнольдс внимательно, и возражения их серьёзны.

Вот в чём слабое место. Та чудовищная процедура — слитая кровь, плоские линии — длилась не всю операцию, а лишь её сердцевину, считанные минуты. А вокруг были долгие часы, когда Пэм была под наркозом, но мозг её работал. И критики обращают внимание: детали, которые она потом назвала, — пила, реплика про сосуды, музыка — приходятся как раз на те отрезки, когда настоящая «остановка» ещё не наступила или уже кончилась. Череп вскрывают в начале, до слива крови. Реплику могли обронить тогда же. А человеческий слух, даже с заглушками в ушах, способен ловить звук через кости черепа. Иными словами: возможно, Пэм

действительно слышала и воспринимала — но в те минуты, когда её мозг ещё или уже был жив, а не в самой бездне. И тогда чуда нет. Есть редкое, но объяснимое восприятие под наркозом, которое память потом собрала в единую сцену и поместила туда, где сцены быть не могло.

Я не знаю, кто здесь прав. И ты не узнаешь — пока. В этом вся честность нашего положения: самый знаменитый, самый проверяемый случай за полвека исследований — и тот раскалывается надвое ровно посередине. Одни видят доказательство, что сознание смотрело, когда мозг молчал. Другие — игру наркоза и памяти. И ни у тех, ни у других нет решающего довода — того, после которого спор попросту кончается.

И вот что важно понять: Пэм Рейнольдс не одна такая. За ней — целый ряд историй той же необъяснимой природы. Ребёнок, очнувшись, описывает умершего дедушку, которого никогда не видел даже на фотографии, — а семья, побледнев, узнаёт его по описанию. Человек встречает «там» родственника, о смерти которого ещё не знал, — и, вернувшись, узнаёт, что тот и вправду умер. Слепые от рождения рассказывают, что видели. Каждый такой случай несёт на себе одну и ту же двойную печать: он поражает — и при этом держится на том, что почти невозможно доказать. На отсутствии. На том, что человек якобы не мог узнать это иначе. А доказать, что чего-то не было — что не было ни подсказки, ни обрывка разговора, ни случайно увиденной фотографии, — почти никогда нельзя до конца.

Из этого ряда один случай стоит рассказать не скороговоркой. Вики Юмипег ослепла в первые же дни жизни — недоношенную девочку выхаживали в инкубаторе, и избыток кислорода погубил зрительный нерв. Она не видела никогда и ничего; даже сны её за всю жизнь не содержали ни одной картинки — «ни света, ни теней, вообще ничего», как сказала она сама. После тяжёлой автомобильной аварии она, по её рассказу, впервые в жизни увидела: сверху, из-под больничного потолка, — тело на каталке, в котором не сразу узнала себя, а узнала по обручальному кольцу и волосам. Дальше было всё то, что описывают зрячие вернувшиеся, — только без цвета, которого она не знала. Для человека, чей внутренний мир никогда не содержал изображений, это не «яркий сон». Это событие какого-то другого порядка.

И Вики — не единичный курьёз. Когда скептик Сьюзен Блэкмор справедливо заметила, что ни одного документированного случая «зрения» слепых в этой области нет, исследователь Кеннет Ринг принял вызов буквально: вместе с Шэрон Купер они два года разыскивали и подробно опрашивали слепых, переживших подобное, — и собрали тридцать один случай, около половины — слепые от рождения. Итог вышел двояким, и обе половины честные. Да: слепые, включая слепорождённых, описывают у порога смерти переживания, неотличимые от переживаний зрячих, и говорят о них зрительными словами. И нет: независимо подтвердить конкретные увиденные ими детали исследователям, по их же признанию, толком не удалось, а сами Ринг и Купер осторожно заключили, что это, возможно, вовсе не зрение в привычном смысле, а какое-то иное, целостное восприятие, которому у нас пока нет ни имени, ни мерки. Та же двойная печать, что и на всём этом ряду: поразительно — и не ухватить.

И всё же спор пытались закрыть начисто. Придумали жестоко простую проверку: спрятали кое-что увидеть можно было только сверху, паря под потолком, — и на годы вперёд, в разных больницах, стали ждать, кто из вернувшихся сможет это назвать. Не сумел никто. Тот, кто ищет здесь доказательство выхода из тела, обязан честно положить рядом и это: когда спор попробовали решить чисто, чистого ответа не пришло.

Так где же мы оказались? Ровно там, где и предупреждала первая глава, только теперь это не обещание, а вывод, добытый своими руками. Эти случаи слишком сильны, чтобы отмахнуться: они раз за разом подсовывают деталь, которой по всем правилам быть не должно. И они слишком зыбки, чтобы на них опереться: каждый держится на свидетельстве, на памяти, на недоказуемом отсутствии подсказки. Это и есть подлинная форма загадки — не сияющая истина и не разоблачённый обман, а упрямое, неудобное «не знаю», от которого нельзя ни уйти, ни спрятаться.

Один яркий случай, как бы он ни будоражил, спора не решит — мы это только что видели на Пэм Рейнольдс. Его всегда можно повернуть так и эдак. Сила не в одной ослепительной истории.

Она в числе. В том, что происходит, когда отводишь взгляд от одной постели — и смотришь на тысячи сразу.

Туда мы и идём.

Часть II. Свидетели



Глава четвёртая. Те, кто видит первым



В хосписе под Буффало, поздним вечером, старая женщина, которой осталось несколько дней, тихо разговаривает с матерью.

Она уже почти не ест и почти не говорит с живыми. Но сейчас её лицо обращено к углу палаты, и губы шевелятся — мягко, без страха, как говорят с тем, кого любили и давно не видели. Её мать умерла сорок лет назад.

В дверях стоит медсестра. Ещё поколение назад она знала бы, что записать в карту, — одно слово: спутанность. И потянулась бы за чем-нибудь успокаивающим, чтобы прекратить это «бредовое возбуждение». Так делали везде и всегда: то, что умирающие видят в свои последние дни, медицина привычно складывала в папку с надписью «помрачение сознания» — и гасила лекарствами.

Но если подойти и присмотреться, видно странное. Женщина не в бреду. Спроси её — она назовёт своё имя, узнает медсестру, скажет, какой нынче день. Она здесь, в этой палате, в полном уме. А потом снова поворачивается к углу и продолжает разговор, которого там, по нашим меркам, нет.

Один врач отказался называть это бредом.

Кристофер Керр пришёл в медицину человеком чисел. Его учили читать электрические сигналы сердца, доверять приборам и не верить тому, чего нельзя измерить. И вот этот-то скептик, обходя палаты умирающих, снова и снова натёкался на одно и то же — на тихие беседы с ушедшими, на спокойные лица, на людей, которые в последние дни переставали бояться. Коллеги проходили мимо, списывая всё на догорающий мозг. Керр не смог пройти мимо. И сделал то, чего до него почему-то толком не делал никто: стал спрашивать самих умирающих — терпеливо, систематически, неделю за неделей, — что они переживают.

Из этих вопросов выросла работа, какой в этой области ещё не было. Больше тысячи четырёхсот пациентов. Семь научных статей в рецензируемых журналах. И вот что они показали.

Около восьмидесяти восьми процентов умирающих — почти девять из десяти — рассказывали хотя бы об одном таком сне или видении. И почти все добавляли одно и то же: это было не похоже на обычный сон, это было реальнее яви. Чаще всего приходили мёртвые — мать, отец, муж, старый друг. Не безликие тени, а именно те, кого человек любил. И приносили они не ужас, а его противоположность: покой, прощение, чувство, что тебя ждут. Чем ближе был конец, тем меньше становилось страха.

Теперь остановись, потому что здесь — главное, и оно не в красоте этих сцен, а в том, как они добыты.

Все истории, что мы слышали до сих пор, — и Сикория, и Пэм Рейнольдс — рассказывались потом. Человек выживал, отлёживался и пересказывал свою ночь по памяти, а памяти, как мы знаем, свойственно достраивать. А люди Керра говорили не потом, а в тот самый момент. Их расспрашивали живыми, в ясном уме, неделю за неделей, до самого конца. Это не выуженное из памяти годы спустя воспоминание — это свидетельство, пойманное свежим, по горя-

чему следу. Впервые за всю нашу дорогу мы имеем дело не с одной яркой историей, а с тысячами тихих, записанных так, как записывают настоящие данные.

И есть одна деталь, которая особенно не даётся лёгким объяснениям. Вера не меняла ничего. Глубоко верующий и вовсе неверующий видели одно и то же и одинаково обретали покой. А ведь будь это просто работой культуры или исполнением желаний, всё было бы иначе: верующий встречал бы рай, каким его рисует церковь, а атеист не видел бы ничего. Но нет — приходило одно и то же, поверх всякой веры и неверия.

Как это выглядит с атеистической стороны, показал случай, ставший знаменитым далеко за пределами хосписов, — и он стоит короткого отступления. Летом 1988 года в лондонской клинике подавился куском копчёного лосося сэр Альфред Айер — один из влиятельнейших философов-рационалистов двадцатого века, человек, полвека доказывавший, что всякий разговор о загробном — попросту бессмыслица. Сердце его стояло четыре минуты. Очнувшись, он обнаружил, что ему, убеждённому атеисту, есть что рассказать: ярчайший красный свет, болезненный, даже когда отворачиваешься, и странное знание, что свет этот «отвечает за управление вселенной». И вот что примечательно: ни рая, ни встречающих — ничего из того, что «положено» видеть по церковной прописи; но и под его неверие опыт подстраиваться не стал — вышел чужим, ни на что не похожим. Айер описал всё в газетной статье и закончил фразой, которую стоит привести дословно: пережитое «слегка ослабило моё убеждение, что моя подлинная смерть, которая уже не за горами, станет моим концом, — хотя я продолжаю надеяться, что так и будет». Атеистом он остался; через несколько дней даже уточнил, что ослабла не сама его уверенность, а её непреклонность. Через год его не стало. А для нашей главы здесь важно одно: опыт у порога не спрашивает разрешения у убеждений — он приходит и к тем, кто всю жизнь доказывал, что его быть не может, и приносит им не то, чего они ждали, и не то, чего боялись.

И картина эта — не открытие одного хосписа в Буффало. За полвека до Керра тот же вопрос задали в куда более широком масштабе, и на двух континентах сразу. В конце пятидесятых исследователь Карлис Осис разослал десять тысяч анкет американским врачам и медсёстрам — тем, кто по роду службы стоит у смертных постелей чаще всех, — с простым, в сущности, вопросом: что вы видели у умирающих? Вернувшиеся ответы покрывали наблюдения за тридцатью пятью тысячами смертей: сотни видений — и почти всегда за ними покой, тихая просветлённость, у иных отступала даже боль. А затем Осис вместе с исландским психологом Эрлендуром Харальдссоном сделал ход, который и превратил любопытство в настоящее исследование: повторил тот же опрос в Индии. Замысел прозрачен: если видения умирающих — продукт культуры, то христианская Америка и индуистская Индия должны увидеть у последней черты совсем разное.

Вышло интереснее — в два слоя. Лица и вправду оказались местными: американцам являлись чаще всего умершие родные, индийцам — куда чаще посланцы бога смерти; культура одевает видения в свои одежды, и тут скептик прав. Но сам сюжет оказался общим: и там и там к умирающему кто-то приходит — почти всегда умерший или неземной, почти всегда «за ним», — и там и там эта встреча чаще приносит умиротворение, чем страх. В их материалах есть сцены, которые трудно забыть. Индийский больной вдруг говорит родным: «У него тележка — это, должно быть, ямдут! Он дразнит меня, что заберёт. Но я не пойду, я хочу остаться с вами», — просит держать его крепче и умирает. А в пенсильванской больнице десятилетняя девочка, уже переломившая пневмонию — врачи считали кризис позади, — спокойно говорит матери, что ангел взял её за руку, и умирает через минуту, тихая и безмятежная, безо всяких медицинских предвестий.

Честности ради, у этой широты есть цена. Ответили лишь единицы из разосланных тысяч, и — главное — рассказывали не сами умирающие, а те, кто стоял рядом: каждый случай прошёл через две человеческие памяти, прежде чем лечь на бумагу. Керр десятилетия спустя

закроет ровно эту брешь — станет спрашивать самих умирающих, заранее и напрямую. Но широкая картина Осиса и Харальдссона добавляет к его тысяче четырёмстам пациентам то, чего один хоспис дать не может: два континента, две несмешивающиеся веры — и один и тот же сюжет у последней черты.

И всё же применим наш нож и здесь. Тот самый, которым мы во второй главе научились разделять каждую историю надвое.

Что здесь можно проверить, а что нельзя? Была ли мать, умершая сорок лет назад, в тот вечер и вправду рядом с дочерью — этого мы проверить не можем: нет ни прибора, ни способа, и пока не видно, откуда бы им взяться. Это остаётся на тарелке «только с их слов». Но вот что Керр проверил и измерил по-настоящему: что это переживание случается — почти у всех. Что оно поразительно похоже у разных, незнакомых друг с другом людей. Что оно успокаивает, а не пугает. Что оно не похоже на спутанный, обрывочный бред умирающего мозга, а ясное и связанное. И что вера на него не влияет. Всё это — не чьи-то слова, а публичные, сосчитанные факты.

Видишь, как всё разложилось? Доказать, что мёртвые и вправду приходят за нами, эти данные не могут — такое вообще не по силам никакому опросу, сколько бы тысяч человек он ни охватил. Но кое-что поскромнее — и куда прочнее — из них всё же следует: что умирающие, почти все, поверх любой веры, в свои последние дни встречают нечто, что их утешает. И что медицина целый век принимала это «нечто» за бред и глушила, вместо того чтобы хотя бы выслушать.

Стоит сказать и о самом Керре, потому что в этом ключ к доверию. Он не заявляет лишнего. Он не говорит «я доказал жизнь после смерти». Он документирует явление и его утешающую силу — и честно молчит о том, откуда оно. Именно эта сдержанность и позволяет верить его числам. Он не сулит нам тот свет. Он просто вернул умирающим право быть услышанными.

Так где мы теперь? Мы ушли от одной драматичной постели — от Пэм Рейнольдс, которую всегда можно повернуть так и эдак, — к тысячам тихих, и под ногами стало заметно надёжнее: эти свидетельства собраны заранее, в реальном времени, у верующих и неверующих одинаково. И всё-таки самая сердцевина опять осталась на той, недостижимой тарелке: мы знаем, что умирающих кто-то навещает, — но не знаем кто.

И тут начинается самое странное.

Потому что главная загадка этих палат — не в том, что видят умирающие. А в том, что иногда то же самое видит кто-то ещё — тот, кто просто сидит рядом: живой, бодрствующий, здоровый человек, которому в тот час ничего не грозило.

С них и продолжим.

Глава пятая. Здоровые у постели



Дочь сидела у постели умирающего отца, держала его за руку и не спала уже вторые сутки. И вдруг — она потом будет повторять это, сама себе не веря, — комната переменялась. Воздух будто загустел и посветлел. В изножье кровати она ощутила чьё-то присутствие, тёплое и знакомое, хотя там никого не было. На одно мгновение её саму словно потянуло куда-то вместе с отцом — мягко, без страха, — а потом отец сделал последний вдох, и всё схлынуло. Она была совершенно здорова. Бодрствовала. И не умирала.

Такие рассказы собирают давно, и у них есть имя: совместные переживания смерти. Человек, сидящий рядом с уходящим, вдруг как будто на миг заглядывает туда же, куда уходит тот. Видит свет или дымку. Чувствует, как меняется комната. Иногда — узнаёт давно умершего родственника, пришедшего, как кажется, встретить умирающего. Иногда говорит, что проводил его часть пути и повернул назад у какой-то черты. Раймонд Моуди, врач, который полвека собирал такие истории, заметил то, мимо чего трудно пройти.

Вот это «мимо чего трудно пройти» — главное в нашей главе, и я хочу, чтобы ты почувствовал его в полную силу, прежде чем мы применим наш нож.

Всю дорогу над нами висело одно объяснение, удобное и сильное: всё, что видят умирающие, рисует им умирающий мозг. Кислородное голодание, последний залп угасающих клеток — вот тебе и свет, и встречающие. Этим можно отмахнуться и от Сикориа, и от Рейнольдс, и даже от тысяч пациентов Керра. Но как отмахнуться вот этим? Здесь видит не умирающий. Здесь видит тот, кто стоит рядом — с целым, здоровым, бодрствующим мозгом, которому ничто не угрожает. Если свет и встречающие — всего лишь химия гаснущих нейронов, то почему их видит человек, чьи нейроны в полном порядке? Кажется, мы наконец нашли то самое — случай, на который «просто умирающему мозгу» уже нечего ответить.

Кажется. И вот тут я обязан остановить нас обоих — потому что иначе мы сделаем ровно то, против чего написана эта книга.

Применим наш нож. Но в этот раз — не к чужому объяснению, а к собственному восторгу.

Помнишь, откуда мы только что пришли? От Керра — тысяча четыреста пациентов, серия рецензируемых работ, расспросы в реальном времени, по горячему следу. Это была твёрдая земля. А здесь — собрания историй, рассказанных потом, людьми, убитыми горем, в самую тяжёлую минуту их жизни; без контрольной группы, без систематического исследования, без всего того, что делало данные Керра данными. И тот же человек, что сидел у постели, — он ведь любил уходящего больше всего на свете. А любящий, истощённый, не спавший двое суток ум в миг утраты — это самая благодатная почва для того, чтобы увидеть желаемое. Ожидание, внушение, милосердие собственной психики, накрывающее боль.

Видишь, какая злая ирония? То самое, что делает эти случаи такими сильными, — что свидетель здоров, — сидит на самой зыбкой почве, какую мы держали в руках за всю дорогу: сила заявления огромна, а опора под ним — самая тонкая. Чем громче слово, тем тоньше под ним лёд.

Итог выходит двоякий. Совместные переживания смерти и вправду лишают скептика его любимой опоры — потому что здоровый мозг не спишет на умирание. Но опереться на них в ответ мы не можем — потому что это рассказы, а не исследование. Они снимают одно возражение и тут же ставят другое. Так и будем их держать: как поразительную возможность, а не как доказательство.

И всё же не дадим скептику закрыть тему слишком легко, потому что одно в этих историях по-настоящему упрямо. Объяснение «убитый горем ум увидел желаемое» хорошо работает, пока свидетель один. Но в некоторых случаях одно и то же в один и тот же миг видели несколько человек в комнате сразу. А ещё бывало, что свидетель замечал деталь, которой знать не мог, — и она потом подтверждалась. Один скорбящий ум можно списать на горе. Но как горе одного показывает одно и то же сразу троим? Вот здесь объяснение начинает скрипеть. Не ломается — мы по-прежнему имеем дело с рассказами, — но скрипит ощутимо.

Так где же мы оказались на этот раз? В странном месте. Перед нами феномен, который, окажись он тем, чем выглядит, снял бы главное возражение скептиков разом. И при этом он приходит к нам в самой ненадёжной из всех одежек — как история, рассказанная у свежей могилы, а не как протокол. Опереться нельзя. Отмахнуться — тоже не получается до конца. Остаётся честно положить его на стол и идти дальше с тем же ножом.

А идти есть куда. Потому что до сих пор мы не отходили от одного-единственного места — от смертного одра. Свет, встречающие, покой — всё это мы ловили только там, у последней черты, куда человека приводит умирание.

Но в ту же самую страну, оказывается, ведёт не одна дверь. И по некоторым из этих дорог можно пройти нарочно — трезвым, по своей воле, под наблюдением, в лаборатории. С них и продолжим.

Глава шестая. Другие двери



Трое людей, которые никогда не встретятся, в один и тот же миг оказываются в одном и том же месте.

Первый умирает в больничной палате — сердце сдаёт, и его выносит в тёплый свет, где его ждут. Второй лежит на кушетке в лаборатории Лондонского университета, в вену ему медленно вводят ДМТ, он трезв, здоров, опутан датчиками — и его выносит в тёплый свет, где его ждут. Третий сидит в позе для медитации в монастыре, дышит, считает дыхания тридцатый год подряд, — и растворяется в том же тёплом свете, где исчезают границы между ним и всем остальным.

Никто из них не умирал по-настоящему, кроме первого. И всё же все трое вернутся с почти одинаковым отчётом: гиперреальная ясность, любовь без условий, чувство, что это и есть дом, — и потом, на всю оставшуюся жизнь, ослабевший страх смерти.

До сих пор мы стояли только у одной двери — у смертного одра. Но в эту страну, выходит, ведёт не один вход. И вот это открытие — что к одному и тому же пейзажу можно прийти совершенно разными дорогами — поначалу кажется сильнейшим доводом в пользу того, что пейзаж настоящий. Если место видят и умирающий, и трезвый доброволец, и монах, — значит, рассуждаем мы, место существует само по себе, а не есть бред конкретного гаснущего мозга. Дверей много — комната одна.

Красивая мысль. И ровно она же, если додумать её до конца честно, оборачивается против самой себя.

Потому что стоит присмотреться ко второй двери внимательнее — и красивая мысль даёт трещину. Доброволец в лаборатории не умирал. Его мозг не голодал без кислорода. С ним не случилось ничего, кроме одной молекулы, отмеренной шприцом. И этого хватило, чтобы получить весь набор: свет, существ, любовь, обзор, ощущение «реальнее реального». А раз известное вещество, введённое в здоровую вену, надёжно, повторяемо, в любой вторник воспроизводит то самое переживание, — то простейшее объяснение напрашивается само, и звучит оно сурово: переживание это и есть состояние мозга. Его можно вызвать химией, потому что оно химией и порождается. И тогда смертный одр — лишь ещё один способ запустить тот же механизм: умирающий мозг сам, без всякого шприца, выбрасывает то, что доброволец получает из ампулы.

Это, пожалуй, самое сильное, что есть у скептика за всю нашу книгу. И было бы нечестно протащить его скороговоркой и побежать дальше. Если одну и ту же дверь открывает и смерть, и наркотик, то бритва Оккама указывает не на иной мир, а на нейробиологию. Я должен сказать это прямо, потому что обещал, что наш нож различает в обе стороны: сейчас он поворачивается к самой надежде — и всерьёз.

Что можно ответить — не в оправдание, а по-честному?

Первое. «Ближе всего» — не значит «то же самое». Самое тщательное сравнение, какое проводили, сопоставило тысячи отчётов о ста шестидесяти пяти веществах с рассказами переживших клиническую смерть. Ближе всех к околосмертному опыту подошёл кетамин — ближе всех, но не вплотную. Остался зазор. Пережившие настоящую смерть описывают что-то, чего

нет в наркотическом трипе, — чувство необратимости, «точки невозврата», иное качество реальности. Сходство огромно. Тождества нет.

Второе, тоньше. То, что мозг можно заставить произвести переживание, само по себе ещё не доказывает, что переживание только мозгом и создаётся. Химия и умирающий мозг могут действовать на сознание так же, как удар действует на старый радиоприёмник: стукни его — и он издаст звук. Но из этого не следует, что вся музыка, которую он вообще играет, рождается у него внутри, а не приходит по волнам откуда-то ещё. Возможно, и химия, и умирание просто на время приоткрывают один и тот же клапан. Возможно. Но честность требует тут же добавить: это лишь возможность, логическая лазейка, а не доказательство. Сама по себе она ничего не весит — она только не даёт скептику закрыть дверь окончательно.

Так что взвесим без самообмана. На одной чаше — поразительное сходжение: один пейзаж, добытый смертью, химией и тишиной ума, поверх всех различий. На другой — простое и тяжёлое наблюдение: если таблетка делает то же, что смерть, то проще считать это работой мозга. И этот раунд остаётся за скептиком — признаем это прямо. У этой двери счёт не в нашу пользу: сходжение входов само по себе не открывает иной мир, и проще предположить, что у всех этих состояний общая нейрохимическая подкладка.

Но запомним слово «раунд». Это один довод, а не весь спор — мы пока только раскладываем фигуры на доске.

И всё-таки одно остаётся — не как доказательство, а как заноза, которую материализм не вынимает до конца. Пусть переживание рождается в мозге. Но почему оно меняет людей навсегда? Обычная галлюцинация проходит, как сон, не оставляя следа. А эти — и вызванные веществом вроде ДМТ, и предсмертные, — годами, а то и десятилетиями держат человека другим: без страха смерти, мягче, добрее. Большой опрос нескольких тысяч людей, переживших под ДМТ встречу с иным существом, показал: у восьми из десяти пережитое не прошло бесследно — они говорят, что оно навсегда изменило их картину реальности. Но у этого сравнения, честности ради, есть слабое место. За предсмертным опытом можно проследить вперёд, годами наблюдая одних и тех же людей, — так и сделал ван Ломмель. Такого же долгого, заранее спланированного наблюдения именно для ДМТ пока не проводили: есть только то, что люди сами вспоминают о пережитом спустя годы, а не то, что было зафиксировано заранее и перепроверено потом. Если это просто химический морок, отчего морок перестраивает жизнь прочнее любого реального события? Ответа у нас пока нет ни с той, ни с другой стороны — и заноза остаётся сидеть, где сидела.

А пока подведём итог этой двери: пейзаж один, входов много, и сам этот факт, как ни горько для романтика, кренит весы к нейрхимии, а не от неё.

Но есть ещё кое-что, о чём я нарочно молчал всю главу.

Все эти двери — и смерть, и ампула, и медитация — у нас открывались в свет. В тепло, в любовь, в чувство дома. Будто там, за порогом, по какой дороге ни приди, ждёт одно и то же сияние.

Так вот: не всегда. Иногда дверь открывается совсем в другое. И к этим — тёмным — дверям мы сейчас и подойдём.

Глава седьмая. Тёмная сторона



Не все возвращаются из света.

Шесть глав подряд мы шли за людьми, которых у последней черты встречали тепло, любовь и сияние, и легко было поверить, что так бывает всегда. Так бывает не всегда. Часть вернувшихся рассказывает совсем другое — и долго эти рассказы почти никто не хотел слушать, ни верующие, ни врачи, потому что они портят красивую картину обеим сторонам.

Одни описывают пустоту. Не тьму с чудовищами, а кое-что страшнее — абсолютное, бесконечное одиночество. Сознание есть, а вокруг нет ничего и никого, и нет надежды, что когда-нибудь будет, и это «никогда» ощущается как окончательный приговор. Другие — те самые редкие случаи — рассказывают про места, до жути похожие на ад из старых проповедей: серые пространства, скрежет, стоны, фигуры, отдалённо напоминающие людей, искажённые и мучающиеся. А третьи переживают всё то же, что и счастливы, — тот же тоннель, тот же свет, — но переживают это как угрозу: свет не обнимает, а надвигается, и от него хочется бежать.

Психиатры Брюс Грейсон и Нэнси Эванс Буш, которые первыми взялись изучать эти случаи всерьёз, разделили их на эти три рода — перевёрнутый, пустотный и адский. И по самым осторожным подсчётам тяжёлый опыт переживает примерно каждый пятый. Цифра эта, скорее всего, занижена, и причина проста и человечна: о светлом ОСО рассказать легко и приятно, а о том, что ты побывал в аду, молчат — из стыда, из страха, из нежелания возвращаться туда даже памятью.

Остановимся, потому что здесь — поворот, ради которого стоило заводить эту тяжёлую главу.

Помнишь, чем кончилась прошлая? Раунд остался за скептиком: если химия умирающего мозга так похоже воспроизводит свет и покой, проще считать, что мозг их и сочиняет. Объяснение было — гипоксия и эндорфины дарят гаснущему сознанию блаженство напоследок, милосердный наркоз перед концом. Хорошее объяснение. Ровно до этой главы.

Потому что если умирание — это химический подарок, последняя щедрость гаснущих нейронов, то откуда ад? Зачем мозгу, отключаясь, дарить одному бесконечный покой, а другому — бесконечное одиночество? Гипотеза «приятной химии» предсказывает блаженство для всех. А получается блаженство для большинства и ужас для заметного меньшинства. И это меньшинство — камень в ботинке у простого объяснения. Тёмная сторона ничего не говорит нам о том, есть ад или нет, — но она ломает ленивую картинку, в которой ОСО — это всегда умиротворяющий сон угасающего мозга. Сон так не работает. Кошмар — другое дело.

И ещё одно делает тёмные случаи упрямыми — и тут стоит вспомнить прошлую главу. Там дверь ДМТ была по нам: трезвый доброволец видел тот же свет, что и умирающий, и скептик торжествовал — вот, всё та же химия. Но за той же самой дверью бывает и другое. Доброволец под ДМТ, трезвый и здоровый, иногда возвращается не со светлыми проводниками, а с встречей с чем-то злым и осуждающим. Один из первых исследователей этого вещества свернул свои опыты в том числе потому, что слишком многие его участники возвращались по-настоящему напуганными. Десятилетия спустя большой опрос больше двух тысяч таких встреч подтвердил то же самое: у восьми из десяти существа были добрыми — а почти у каж-

дого десятого злонамеренными, и почти половина опрошенных в момент встречи испытывала неподдельный страх, что бы ни было дальше. Видишь, что вышло? Нет, химия этим не опровергнута — химии как раз не привыкать действовать по-разному: то же вино одного веселит, а другого делает мрачным, и загадки в этом нет. Удар приходится точнее. Скептик ведь говорил не просто «это химия» — он говорил «это химия милосердия», покой, которым угасающий мозг напоследок укрывает сознание. Но та же молекула, что приносит свет, приносит и ужас — а значит, встроенного милосердия в ней нет, и от уверенного «в конце нас ждёт покой» остаётся только «в конце может быть что угодно». А это уже не объяснение, а пожатие плечами: оно ничего не предсказывает — ни света, ни тьмы, ни того, кому что выпадет. И снова то же схождение, что и со светом, только в обратном, тёмном регистре: разные двери — и за частью из них один и тот же мрак.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.